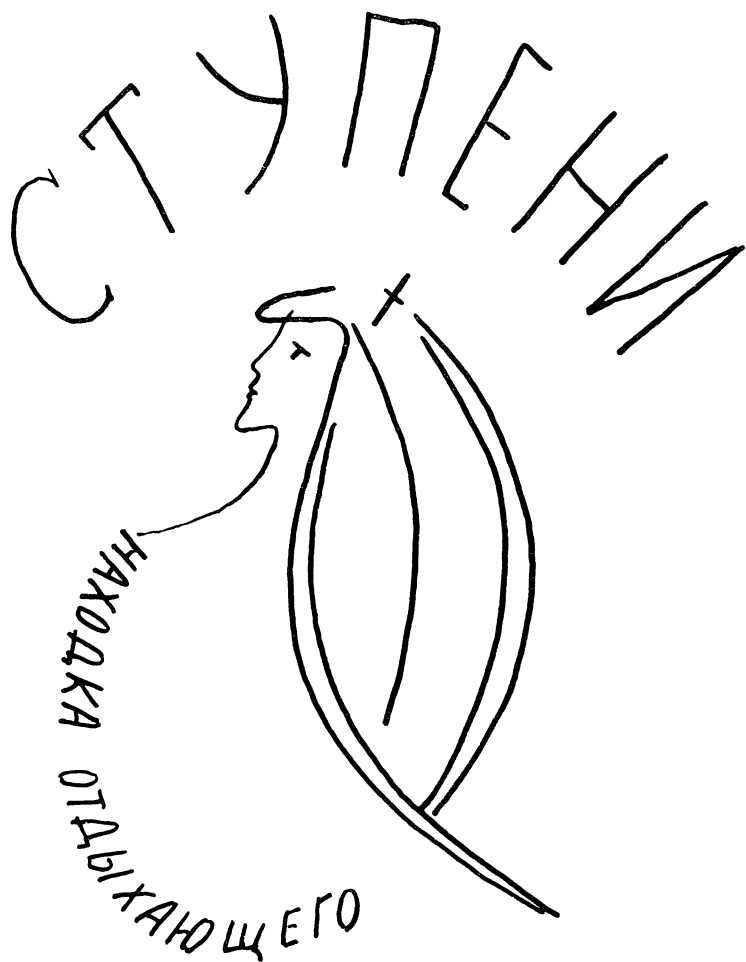


A



ИННА
ЛИСНЯНСКАЯ

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

СТУПЕНИ



МОСКВА

Издательство "ПРОМЕТЕЙ"

1990

ББК 84 Р7
Л 633

Художник *Елена МАНЕВИЧ*

Ступени. Поэма. М.: "Прометей". Литературно-художественное агентство "ТОЗА", 1990. – 32 с.

Л $\frac{4702010201}{183(2)-90}$ Без объявл.

ISBN 5-7042-0102-5x

© И.Л. Лиснянская
© Е.И.Маневич



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЯВЪ

ВСТУПЛЕНИЕ

Я вздрогнула: ну кто б так рано мог
Прийти, не упредив по телефону?
Пока ключом я мучила замок,
Мой гость у лифта скинул башмаки:
– В Москве проездом я, прошу пARDону! –
И, не представившись, мне протянул листки
И торопливый свой закончил монолог:
”Увы, находку, куда надо, сдал,
Поймете вы, – перестраховки ради.
Но перед тем, как слать, переписал”. –
”Хотите кофе?” – Но пустой порог,
И лишь в руках – страницы из тетради.

А

А может быть, все это неспроста, –
И алфавит под переплетом красным,
Идущий лесенкой, и майские места,
Где Слово, разветвившееся в речь,
Тобой правит с попеченьем властным,
Чтоб избегала ты опасных встреч
На этом спуске некрутом от А
До яростно мятущегося Я
Наперекор как Жизни, так и Смерти.
Ступай, здесь за тобою нет хвоста,
Ступай с мечтой о манне бытия
И никогда не думай о десерте.

Б

Бывает и в невзгодах перерыв, –
Ведь есть же перерыв на предприятиях!
Как зонтик, облако цветущее раскрыв,
Стоит такой черемуховый час
Над Рузою, что я в его объятьях,
О мертвые мои, уже о вас
Бесслезно думаю! – Меж нами лишь разрыв
Пространственный. Вы знаете о нем,
О мертвые, точнее, чем живые, –
И радуется радостям живых
И плачете, когда мы слезы льем.
Об этом догадалась я впервые.

В

Впервые не обидно мне весной,
 Что не пожну того, что я посею
 Хотя бы в этой книжке записной,
 Где завтра заночует соловей.
 Но соловьем не удивишь Расею,
 Как опыт учит. И к тому же ей,
 Забвенье видящей в буре спиртной,
 Не нужен от забвенья передых, –
 Ей память не годится и в закуски!
 О как дрожит стакан в руках худых! –
 На что ей знать: на мост ли разводной,
 На мост ли Бруклинский поэт выходит русский?

Г

Гнездо свое он вьет не на ветвях,
 А на земле. О, как неосторожно,
 По-соловьиному, он презирает страх!
 Целенаправленной, да и шальной пятой
 Его гнездо, шутя, прикончить можно.
 Ну, а пока над мелко-завитой
 Черемухой звучит в полупотьмах
 Ступенчато-ликующая трель.
 Молю тебя, приятель, до рассвета
 Не умолкай! В траве – твоя скудель,
 А для души на вьющихся верхах –
 И детство Моцарта и вечер Фета.

Д

Давно меня не посещал восторг,
 Да и была ли пища для восторга?
 Сулила осень северо-восток
 Или несчастный случай на шоссе
 С туфтовым актом для родни и морга.
 Все чепуха! Черемуха в красе
 Неслыханной, и каждый завиток
 В бездумной отражается реке.
 Здесь и прабабушка моя гляделась в Рузу,
 С крестьянской силой в узенькой руке,
 Стирая, юбки била о валец
 И приглянулась пленному французу.

Е

Едва ли все тут правда, но не мне
Развенчивать семейное преданье,
Так нравившееся моей родне,
Которая исчезла без следа,
Без права переписки и свиданья
В уже обрыдлые читателю года.
Лишь чудом спасся бедный мой отец,
Чтоб вскоре пасть на праведной войне
С дыркой под медалью "За отвагу".
Хоть я в генеалогии не спец,
А все же был француз, и на стене
Храню наполеоновскую флягу.

Ж

Жива лишь эта фляга, но не для
Мемуаристики мне подарили книжку,
А чтоб вселить в нее от А до Я
Знакомых телефоны, адреса,
Но я в нее вселяю передышку
От быта, где редеют голоса
Прятелей, и где моя петля
На людных улицах вдруг обретае хвост,
Петле – досада, и хвосту – досада,
Поскольку путь мой так открыт и прост,
Как эти обнищальные поля,
Которым ничего скрывать не надо.

З

За ужином замолк пансионат
Леспрома. Видно, этому народу,
Что сам, как лес, коряв и сучковат,
Чье ремесло – на сбыт и про запас
Валить и обрабатывать природу,
Не по нутру о трезвости Указ.
Не с тем ли дядей, глядя на закат,
Во глубине архангельских лесов
Делил бутылку, отбывая ссылку,
Поэт, который с детства виноват
В божественной перестановке слов,
В уменье Время облекать в ухмылку?

И

И мне с программой "Время" повезло,
 Мне занял ветеран войны местечко,
 Но так его с Указу развезло
 В ближайшем к телевизору ряду,
 Что я на луг сбежала, где овечка,
 Чей жребий жертвенный похож на ремесло,
 Еще терзала нежную среду,
 Хоть было ей давно пора в закут, –
 Царица Флора с жертвенной не взывает!
 О небо, ну и пусть меня запрут
 Или швырнут Харону под весло,
 Коль под тобой и жертва жертву ищет!

К

Какая роскошь позволять себе
 С истерикою обращаться к небу,
 Которое в березовой гурьбе
 Да и в людской толпе тебя хранит.
 Какая чушь! Да и на чью потребу
 Твой бесноватый глаз сейчас раскрыт?
 Не ведовской ли служишь ворожке,
 Коль видишь и в овечке признак зла
 И некую для общества опасность?
 Очнись, раба святого ремесла!
 С утра ступай на ту опушку, где в борьбе
 С самой собой ты обретала ясность.

Л

Легко понять, что даже без цветов
 И бабочек, опушка та прелестна,
 Где прошлым летом, ужас поборов
 Перед повесткой с вызовом туда,
 Откуда выйдешь, нет ли – неизвестно,
 Я занялась уроками труда
 Словесного. Старик из стариков,
 Сонет и тот осуществляет связь
 С текущим днем надежнее, чем пресса
 И телетайп. И над собой смеясь,
 Иду из корпуса, где двести номеров,
 На изумрудную опушку леса.

М

Меж тем пансионат наш изумлен:
На крыше, где из жести слово "ОТДЫХ",
Искусством дятел крайне вдохновлен,
И в букве "О", двойник которой ноль,
Он упражняется в трескучих одах.
Но здесь язвят: "Бичует алкоголь!"
Так иль иначе, третьи сутки он
Без перерыва для иных утех
И червячка ни разу не отведав,
Жесть, словно дерево, долбит на крыше тех,
Кто валит лес и варит самогон
И дятлов знает лучше, чем поэтов.

Н

Но выяснилось: он сошел с ума
В предчувствии зимы, трудяга-дятел!
Да и под этой крышей кутерьма –
Бутылки, женский визг, игра в лото.
И месяц май в канун июня спятил, –
Кто поумней, тот захватил пальто.
Нет вражины коварней и лютей,
Чем на весну напавшая зима, –
В ней скука варвара и жуткий смех тиранства, –
Свалила дерево, под снег взяла корма,
А все из-за вмешательства людей
В неотведенное для них пространство.

О

О мстительности космоса вчера
По прихоти пера я сочинила, –
Да снег в окне увидела с утра!
Лежит черемуха в венке своих ветвей!
О, будьте прокляты мои чернила!
...Все ж приведу я на ступени сей,
Чтоб впредь не опасаться мне пера,
Ту мысль, что Пушкин высказал в письме,
Кому не вспомню, – мол, поэт – угадчик,
А не пророк. Коль так – конец зиме!
А нам с соседкой завтракать пора,
Она – из тихих и до времени увядших.

П

Порядок уважает и режим
 Рабочая по деревораскройке.
 Вот и сейчас, до завтрака, спешим
 Прибраться в номере, да вдруг как застучит
 Тишайшая моя по спинке койки:
 "У нас вся мебель на бабье стоит!
 Уж не детей, а секции родим!
 И здесь – все древесина, как в цехах!
 И нас кроят! Мы тоже древесина!.."

Я руки в фиолетовых узлах
 Ловлю и льну к плечам ее большим, –
 И у меня поплакать есть причина.

Р

Растить бы мне и пестовать внучат,
 Рассказывать им бабушкины сказки,
 Которые в крови моей звучат,
 Да так печально кончились они,
 Что грех придумывать веселые развязки.
 Не с ними ль я свяжусь наши дни:
 Огни болота, жертвенника чад,
 Дым пепелица и надежды свет
 Из красных глаз страны моей невинной?
 Пусть мне – закат, а внукам – пусть рассвет,
 Тот самый, что безгрешно был зачат
 И с Воскресеньем связан пуповиной.

С

Словесность наша разветвлялась всласть
 На шведском забулыженном болоте,
 Где негде было яблоку упасть
 Меж косточек российских крепостных,
 Мечтавших не о граде, не о флоте,
 А об избе и всходах посевных.
 Но только б мне в историю не впасть, –
 Невежда я. Однако от нее
 Мне все-таки достался ямб и всадник,
 Чьих медных глаз не выест воронье.
 Теперь и змей не тот, и конь, и власть,
 И втоптан в грязь парашин палисадник.

Т

Тревожно тлеет за окном закат,
 Заречный жар его не слишком пылок,
 Его холмы и поймы зеленят, –
 Под ним почти поленовский пейзаж
 Подпорчен черным грифелем глушилок,
 Но на коротких волнах наш этаж
 И не качался, – в баре нарасхват
 Забвенье, а веселие Руси
 Сберег начальству сауны предбанник,
 А я задумалась, нащупав Би-би-си,
 Над русской славой, а вернее, над
 Твоей формулировкой, изгнанник.

У

Уж так ли жалок странник мне? Я слух
 Расширю, да и раковины слуха
 От адской накипи очишу У старух,
 Прямолинейностью подобных мне,
 При мелкой мысли есть величье духа.
 Пускай глушилки – на любой волне!
 Изгнанника вполне земная речь
 Ветвистым облаком плывет издалека
 В эфирные владения державы,
 Чтоб воздух напоить и чтобы втечь
 В таинственную реку языка –
 В единственный источник русской славы.

Ф

Фактически я здесь девятый день
 Живу, никчемным занимаясь делом:
 Дышу душой, а надо бы, да лень,
 На берегу, который нынче сух,
 Надев купальник, подышать и телом.
 ...Вчера был дождь. Я, напрягая слух,
 Сквозь надоедливую дребедень
 Эклогу слушала и невзначай
 Нарушила я строфику ступени,
 А в ней, хоть малый камешек задень...
 Суровый Липкин, друг мой, не серчай,
 Когда увидишь это преступленье!

Х

Хорошая моя, ты все лежишь,
 Листвой и цветом собственным увита,
 И трупным запахом ты не смердишь,
 Да и кора твоя, черемуха, тепла,
 Ты, может, спать легла, а не убита?
 А может быть, древесные тела
 Не расстанутся с душами, и лишь
 Поэтому загробной жизни нет
 У дерева? Что ждет меня в том мире,
 Коль так я обожаю этот свет,
 Где соловей поет, где даже тишь,
 И даже я притрагиваюсь к лире?

Ц

Целую письма и сжигаю их
 На всякий случай, чтобы не достались
 Они глазам гонителей моих.
 Сжигаю письма от того, кто мне
 Дороже жизни, хоть и не венчались,
 Целую и сжигаю их в огне
 Костра дрожащего среди кустов лесных,
 Сжигаю, – ведь и ангел мой гоним!
 И письма, в свитки черные свиваясь,
 На пепел распадаются и дым.
 О письма, из предчувствий ли дурных
 Сжигаю вас? Чего я опасуюсь?

Ч

Число тридцатое, по-черному народ
 Сегодня пьет, – кто в номерах, кто в баре.
 В последний раз спиртное продает
 Буфетчица. Сосед по этажу
 Уже портвейн вливает в рот гитаре.
 И я в его компании сижу
 (Ужель и в этой я семье – урод)
 Я тоже пью, хоть двадцать лет – ни-ни...
 Заиклилась на злободневной теме...
 А за окном – лиловые огни, –
 Простор широкий осветив, цветет –
 Сирень цветет, как не цвела в Эдеме.

Ш

Широк простор имперский и надзор
 Над ним жесток. Лишь стадо без надзора,
 Вперя в мир непостижимый взор,
 Мычит и запивает луг рекой
 Вблизи черно-белеющего бора, –
 И колер стада в точности такой,
 С той разницей, что на боках узор
 Куда крупней, чем на стволах берез.
 Вас мучают ли думы об убое?
 Но повисает каждый мой вопрос
 Ущербным месяцем с недавних пор
 И в зеркало глядится голубое.

Щ

Щербатый месяц с тучкой над губой
 Ответа ждет из глубины предмета,
 Не зная, что вопрос почти любой,
 Который в вечном воздухе повис,
 Сильнее и трагичнее ответа.
 Вот, например, что сделал бы Нарцисс,
 Нарцисс, возлюбленный самим собой,
 Когда, глядясь в зеркальное русло,
 Вдруг обнаружил бы свое уродство?
 Молчи, мое Святое ремесло,
 Скрывай, что видишь меж твоей рабой
 И обезумевшим Нарциссом сходство!

Э

Этаж уже пустует. Наш заезд
 В автобусах. А я в дежурку шмотки
 Снесла. Куда спешить из этих мест,
 Где и лягушечья капелла хороша?
 Нет, к опрокинутой спущусь я лодке:
 Дежурит нынче добрая душа, –
 Любовь Ивановна мне плечи не проест
 За то, что я с отбытьем задержусь,
 К тому же ей и ключ от номерочка
 Сдала моя соседка. Я прощусь,
 Не торопясь со всем, что есть окрест,
 Прощусь, словно с душою оболочка.

Ю

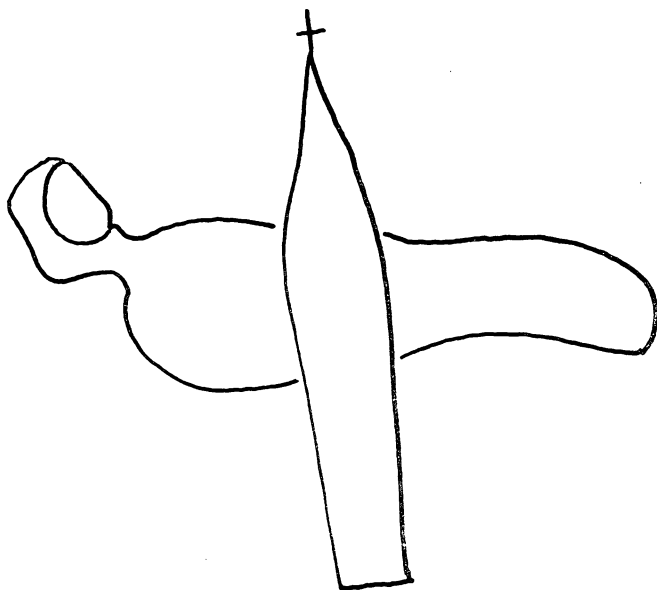
Юродивая ты, да и ханжа, –
У неудачниц это совместимо, –
Кусочек слова с красного ножа
Истории жуешь, как та овца
Траву... И жалуясь, что властью ты гонима,
Живешь, опалой втайне дорожа!
Но что это? Два дюжих молодца
Идут сюда, изображая пьянь,
Но узнаешь опричников походку, –
Нет между вымыслом и правдой рубежа!
Безлюден берег! Дело твое дрянь:
Хоть явь, хоть бред, а книжку ткни под лодку.

Я

”Я стал рыбалить около восьми,
Придвинул лодку, да нашел находку,
Мне б нуль внимания, а я возьми
Да и раскрой, – и ну пошел читать.
Все складно. Но понятно лишь про водку, –
Закладывала крепенько, видать.
Была б тверезой – не было б возни.
Оставила бы адрес, телефон
Заместо соловьев, хвостов да петель.
Учтите, весь заезд – двенадцать дён!
Так что исчезну я, как и возник,
Я отдыхающий, а не свидетель”.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СОН



Я

ВСТУПЛЕНИЕ

Я вышла в сон и поняла, что он –
Не что иное, как изнанка яви.
Три времени отображает сон
В зеркалах троестворчатых своих, –
Сей триптих Вечности в космической оправе
Не удаляет мертвых от живых,
И за ненужностью сокращен
Харон – к чему такая единица
В раздутых штатах похоронбюро? –
Особенно в системе, где урон –
Есть прибыль для идеи, но перо
Ущербного прибýtка сторонится.

Я

Я вздрогнула, увы, не от звонка:
С рекой прощалась, изо рта которой
Торчали врозь два красных языка:
Один язык для совести, другой –
Был явно предназначен для конторы, –
То как сургуч твердел он над рекой,
То извивался гибче червяка,
А первый – в язвах всех людских судьбин –
Подобен был кровоточащей ране.
Как только заговаривал один,
Другой, не медля, русская река
Вбирала всеми мышцами гортани.

Ю

Юродивая обманула всех:
На берег вышла противоположный
И по ступеням устремилась вверх,
Забыв о лодке, тащит на спине
Речные травы как рюкзак дорожный,
Изодранный корягою на дне.
Еще наяды булькающий смех
Течет пузырьчато из пропасти ушной,
Напоминая слюни причитанья,
А водорослей лохмы за спиной
Смыкаются, чтоб не было прорех,
И обретают крыльев очертанья.

Этаж на этаже вдоль берегов,
 Деревьев ярусы и туч лиловых ярус,
 Над ними звезды – тетки тех богов,
 Что населяют и сейчас Олимп.
 Прощай, земля, пансионат, "икарус",
 Алеющий в аллее летних лип!
 За то, что тысяч пять тому веков
 Была голубкой, мне соткал Морфей
 Из водорослей крылышки, а кстати,
 Подруга я того из сизарей,
 Кто в клюве благовест оливковых листков
 Ковчегу притащил на Арарате.

Щ

Щербатый месяц превращен в ответ:
 Быть и не быть в одно и то же время!
 Где нет вопроса – там и горя нет,
 И нет горба, – лишь тучка под стопой
 У месяца (кому свой горб не бремя?)
 О восклицательный, мне весело с тобой!
 И от ресниц я слезы поздних лет
 Отодрала, – летят и в первый раз
 Звенят соленые ледышки звездным массажом:
 "Мы есть и в то же время нету нас!"
 Сей парадокс пока еще скелет,
 Но обрстет он виноградным мясом.

Ш

Широк простор небес, но снова в глубь
 Зеркал гляжу... Приходит муза Клио
 С эпической складкой возле губ
 И вместо свитка зеркало не зря
 С собой взяла, – вот, усмехаясь криво,
 В него глядится, как бы говоря,
 Что тот наивен, ежели не глуп,
 Кто подбивает всем событиям итог,
 А душу и не числит за событие.
 Меж тем душа – Истории исток...
 О Клио, и невежду приголубь, –
 Не летопись я клянчу, а наитье!

Ч

Число осеннее. С ладони Дионис,
 Сочтя меня за шарик винограда,
 В давящую сдунул, дескать – раздавись
 И стань прозрачной капелькой вина!
 Уже не ободрит меня наяда,
 Давильни дно страшной речного дна.
 Но светит – восклицательный: крепись!
 Карабкайся по глиняной стене!
 Ведь есть в тебе сопротивление давке!
 Ведь не осталась разбухать на дне,
 Ведь выбралась и устремилась ввысь!
 Ты, ягодка, не из фантазий Кафки!

Ц

Целую землю и Алкесты след:
 Царица, неужель тебе не ясно,
 Что любит не тебя твой муж Адмет,
 А лишь твою великую любовь, –
 Чтоб жизнь его продлить, ты умереть согласна,
 На что не согласилась и свекровь!
 Краса Фессалии смеется мне в ответ:
 Я не случайным гостем спасена,
 Мне Бог его послал любви во имя!
 Волос Алкесты медная волна
 И глаз зеленых виноградный свет
 Темнеют и становятся моими.

Х

Хорошая моя, да ты жива!
 Христовой стала ты, черемуха, невестой.
 ”Мы есть и нет нас” – это не слова!
 Звезда падучая сожгла мои крыла,
 В ту бросила ладонь, чтоб не Алкестой,
 Не птицей – виноградиной была.
 И мне бы в скит уйти на Покрова!
 Меня, что кошку, бросил в эти дни
 Мой ангел, мой гордец, в чьем сердце смута,
 Чьи письма я сожгла... Но вот они!
 Целы все до единого, но – два
 Никак не распечатать почему-то!

Ф

Фактически, я – кошка на холсте
 Во "Благовещенье" Лоренцо Лотто,
 И ангел здесь с цветущей вестью о Христе,
 Хозяйка ж молится ладонями вперед,
 Как бы от глаз отталкивая что-то,
 И вестнику навстречу не встает
 С колен. Ужель распятым на кресте
 Внезапно видит будущая Мать
 Родное чадо, Господа-младенца!
 ...И кошку ты пригрел, – то благодать
 Сошла к тебе в житейской суете,
 Доселе мне не снившийся Лоренцо!

У

Уж так ли жалок странник? Одиссей
 Еще вернется! Нет, то современный
 Овидий рвется к родине своей:
 Взаимозаменяемы вполне
 Герои и моря (лишь неизменны
 Ковчег и кормчий). И в нью-йоркском сне,
 Космических достигнув скоростей,
 Пласты эпох меняются легко
 Местами и меняют атмосферу, –
 И до Итаки столь же далеко
 И столь же близко, как до якорных цепей
 Васильевского острова, к примеру.

Т

Тревожно блещут искорки надежд
 На возрождение сеющего смерда, –
 Мир в пестряди прабабкиных одежд!
 Да это ж снег на мартовских полях
 Так радужно засеян спектром света!
 Свет-Сеятель, в окрестных деревнях
 Лишь ты мне встретился! Поверх оконных вежд
 Везде – крест-накрест доски... И зерном
 Засеять почву здешнюю сумеешь!
 Свет-Сеятель! Ты милосердным днем
 Ниспослан мне. Надежда, видно, вешь
 Неугасимая. И Слово ты посеешь!

С

Словесность наша продолжает цвести!
 Друг друга опыляя, но и розно
 Живут на Диве-Древе верба-весть,
 Полынь-былина, кактус-авангард,
 Романтик-мак, классическая роза,
 Слегка охрипший колокольчик-бард,
 Подсолнух, чья одическая лесь
 Невинна, Иван-чай-обериут
 И я – сентиментальная мимоза,
 И счастья цвeсть у нас не отберут
 Ни власть, ни змей, ни саранча, которой несть
 Числа, – ее растит официоза.

Р

Растить бы смену... Но как на беду
 Влачу лохмотья пестрых сновидений
 Вверх по ступеням: в нищенском саду
 Я – вроде дачницы. Гляжу – и здесь висит
 Первопричина всех грехопадений –
 Антоновка. Мне Змий нанес визит
 И искушает: если я войду
 С моим скитальцем в тот престижный сад,
 Откуда мы ушли во имя Слова,
 То кончится здесь мой абсурдный ад, –
 Хвосты и петли... И мечусь в бреду,
 Страшась и радуясь, что согрешу я снова.

П

Порядок есть во сне да и режим
 Нагрева ада. Вижу сон соседки:
 Из костромской деревни в стольный Рим,
 Хоть и изъят из жизни Юрьев День,
 Бежала после сельской семилетки
 За паспортом – мечтой всех деревень,
 Чей серп от молота не отторжим
 На гербе. И беглянку ждал успех:
 Ей выхлопотал документ с пропиской
 И дал в общаге койку вредный цех,
 Где нас кроят, а мебель мы кроим,
 И просыпаемся, чтоб съесть пуре с сосиской!

0

О мстительности космоса доклад
 С телеэкрана излучал Юпитер,
 Слова пылали и мерцали – в лад
 Меркурий, Орион, Сатурн и Марс.
 Стерильным облаком докладчик губы вытер,
 Уверенный в поддержке звездных масс,
 А массы, как в давилъне виноград,
 Толкуются в длинной гуще череды
 За водкой – как-никак, а год-то Новый!
 И слезы свет Рождественской Звезды
 Льет на бурлящий в очереди Град
 Да и на снежные пеленочки Христовы.

Н

Но нет, не дятел – я сошла с ума –
 По крыше, как по барабанной коже
 Двумя сосульками стучу: возьми, тюрьма,
 Меня и в лагерь брось заместо той,
 Что праведней меня да и моложе
 И мнится мне каштановой свечой!
 Меня пусть гасит потьменская тьма!..
 Обреет наголо, как обстругает брус!
 Пусть вместо той согнусь от боли в почке,
 Крамольной лирой отгоняя гнус!
 Меня возьми, – ведь я прошусь сама
 Заместо той, что мне годится в дочери.

М

Меж тем я в здравом разуме, не то б
 Меня бы обессонил сон вчерашний,
 А я, дремотный чувствуя озноб,
 Отнюдь не в бой впадаю, а в покой,
 В свой мелкохлопотный, в свой быт домашний:
 Левша с рожденья, левою рукой
 В бордовый борщ крошу сухой укроп
 И "Вихрь" включаю, чтобы пылесос
 Сплотил живую пыль и неживую,
 Да цвет каштана и сквозь пыль пророс!
 Кричу то ли в подушку, то ль в сугроб:
 Я существую и не существую!

Л

Легко сказать: я есть и нет меня –
 Так совесть убаюкаешь в два счета!
 То посредине заметленного дня
 Язык восстал, как пламень изо льда,
 И прав язык. Но мне мешает что-то
 Сгореть (хотя и время) со стыда.
 Ах, да! Ведь я сегодня – головня,
 Старуха в черном с пепельной тесьмой.
 Но смладу злой или безмозглой дылды
 Я не была, не ослепляясь тьмой,
 Не мстилась дланью мне горийская клешня,
 Но не была и я святой Касильдой!

К

Какая ночь! Как жалостлива дочь
 Свирепого правителя в Толедо!
 Чтоб христианам хоть едой помочь,
 По лесенке спешит в тюремный мрак,
 Шуршаньем юбки, звяканьем браслета
 Гяурам подает условный знак
 И в эту ночь. Однако в эту ночь
 Ее застиг отец, а он свиреп!
 Касильда застывает на приступке,
 Пытаясь молча ужас превозмочь, –
 Но в розы чайные преобразился хлеб
 В парчовом подоле испанской юбки.

Й

И краткое, и воющее Ы,
 И твердый знак, и, к сожаленью, мягкий
 Искать не станем в этой книжке мы, –
 Они забились в щели меж зеркал
 Трехстворчатых и превратились в маки
 Той дремы, в коей верно упрекал
 Меня язык, восставший из зимы.
 И впрямь себе я мнилась головней
 В дурманно-романтической дремоте.
 Везет таким, кто болью головной
 Отделавшись от призрака тюрьмы,
 Орет: "Я есмь и несть меня в природе!"

И мне везет: юродивой ханже
 Семь лет справляют! Мы проводим лето
 В безлюдной, турками порушенной Шуше,
 Где что ни дом – то каменный скелет,
 Я куклу нянчу в пустоте скелета,
 А папа прячет жизнь и партбилет.
 Белеет брынза на пятнистом лаваше,
 Овечка жарится на примусном огне,
 И мама арии поет из опер,
 Мелькает бабочкой цирюльник Бомарше...
 Молчат меж балок звезды... О резне
 Лишь виноград вопит меж серых ребер.

3

За окнами ты пела, я спала
 В своем оцепененье безголосом,
 Пока ты пела, пряжу я пряла,
 О подзеркальный опершись костыль,
 Из пыли, плотно сбитой пылесосом, –
 Вселенская и комнатная пыль,
 Как с той овечки шерсть, была тепла.
 О чем ты пела, глупая капель!
 Я на поступки больше не пригодна,
 Но волю дам я пыли, – пусть хоть в щель
 Оконную летит, хоть в зеркала,
 И пусть живет, и пусть поет, что пыль свободна!

Ж

Жива и пыль, и память, и во сне
 Она пророчица, она – Кассандра.
 И я осталась с ней наедине
 И соль целую безутешных глаз:
 Все верили тебе, моя касатка,
 И только притворялись, как сейчас
 Мы притворяемся по слабине,
 Что мы тебе не верим. Рабский дух
 Боится правды, – такова житуха.
 Кассандра-память рассуждает вслух:
 Погибните не в ядерной войне,
 Погибель ждет вас на развилке духа.

Е

Едва ли правда, что в бурде спиртной
 Расея ищет способа забыться,
 Лукавит на развилке роковой:
 Ей память – к выпивке соленый огурец, –
 Пусть и стакан и огурец двоится,
 И ребра гнезд, и месяца торец, –
 Тогда понятно, что язык родной,
 Как все вокруг, двоится от вина!
 О Господи, – молюсь я в сновиденье, –
 На нас самораспятия вина!
 Наш крест остроконечный и стальной!
 Но смилуйся и дай нам Воскресенье!

Д

Давно не снился мне такой апрель,
 Где я не муха в первой паутине,
 А та блаженная виолончель,
 Которая исполнила вчера
 Концерт-Молитву – ля мажор Тартини,
 В редчайшие молюсь я вечера,
 Но давеча (благодаря свече ль,
 Что позабыл задуть транжира-сон?)
 Молилась я. Не отошли еще от боли
 И струны, и смычок мой напряжен,
 А в скудном сердце – и ступенчатая трель
 Соловухи, и предпасхальный звон,
 И даже пыль, поющая о воле!

Г

Гнездо мое. В него тащу слова
 Из разных гнезд. Словес кровосмешенье
 Не страшно нам как рифма, что слаба:
 Высокий слог и сленг полублатной,
 Сливаясь, не сулят нам вырожденья.
 Но те два языка из глубины речной –
 И есть развилка Духа! И со лба
 Течет предсмертный пот, предсмертный страх:
 Народ наш погибает, говорящий
 На двух различных русских языках!
 А на гнездо – то ли фонарь, то ли сова
 Нацеливает свой янтарь горящий.

В

Впервые с Янусом пьем кофе. Это – гость
Тот самый, что у лифта обувь скинул,
Бог входа-выхода конторе бросил кость,
А мне с той кости копию принес, –
Он там и тут возник и мигом сгинул.
Брюнет он – справа, слева – альбинос:
”Быть и не быть решили? Это ж гвоздь
Всей жизненной программы! Я – не Бог,
Мы все двулики, да и двуязыки.
Я есть народ! И я без правды изнемог,
Есть и во мне и молодость, и злость,
Да хлеба хочется и на десерт клубники!”

Б

Бывает и на грезу перерыв,
Как на обед. Сбылось: и мчатся кони,
Смог выхлопной копытами изрыв
Над транспортной и пешею толпой,
И лебедь, воскресая, на фронтоне
Коленку левую бьет правой стопой,
И солнце пляшет в бронзе вечных грив,
Летит квадрига в клеверный район,
На луг, где Руза, а быть может, Лета,
Куда я канула, откуда вышла в сон, –
Сдать рукопись, а не возьмут – архив
Все ж завести, хоть и позорно это!

А

А может быть, я все же умерла,
И позабыли в похоронной спешке
Завесить роковые зеркала
Трехстворчатые (попросту – трельяж).
Не только Жизнь горазда на насмешки,
И наша Смерть горазда на кураж:
Всю душу раздевая догола,
То окрыляет, то вселяет в холст...
Текущую, грядущую, былую
Явь вывернула, где петля и хвост
Друг друга стоят... Здесь я иль ушла,
Прости нас, Господи, и славься! Аллилуйя!

НЕЧТО ВРОДЕ АВТОБИОГРАФИИ

Что есть автобиография человека, особенно если этот человек прожил шестидесятилетнюю жизнь! По установившимся понятиям – это есть та, хоть и большая, часть формальных сведений, которая не входит в паспорт из-за его малого формата. Был бы паспорт размером хотя бы с писчий лист, в него, думаю, уместилась бы любая автобиография. Если это относится к поэту, то достаточно добавить к паспортным сведениям очень немного: в каком возрасте начал писать, какие книги и когда вышли в свет.

Мне, например, заполнить стандартную биографическую анкету чрезвычайно легко:

- год рождения – 1928
- место рождения – Баку
- мать – Раиса Сумбатовна Адамова
- отец – Лев Маркович Лиснянский
- национальность – соответствующая.

На все остальные вопросы у меня почти сплошные "НЕТ":

- высшее образование – НЕТ
- была ли в комсомоле – НЕТ
- партийность – НЕТ
- семейное положение – НЕТ

– дети – слава Богу, могу с гордостью написать "ДА"! – есть дочь, Елена Макарова.

- судимости – НЕТ
- звания, заслуги, награды – НЕТ

– была ли за границей – НЕТ. (Теперь оскоромилась, была летом 1989 по попусению судьбы в США.)

И на прочие вопросы, как и на те, что я привела не в должной последовательности, также – НЕТ. А что есть, если это биографическая анкета писателя? Семь сборников стихотворений: "Это было со мной" – Баку, 1957; "Верность" – Москва, 1958; "Не просто любовь" – Москва, 1963; "Из первых уст" – Москва, 1966; "Виноградный свет" – Москва, 1978; "Дожди и зеркала" – Париж, 1983; "Стихотворения" – Анн Арбор, 1984. Еще – с какого года публикуюсь? – с 1948-го. Вот что означает биография или автобиография в привычном смысле.

А на самом деле биография – это судьба и характер человека. Счастливая или несчастливая у меня судьба? Трудно ответить, но, пожалуй, из как бы заполненной мною анкеты можно сделать вывод – нелепая. И это будет правильно. И я сама – тоже нелепая. Почти во всем. Левша – первая моя нелепость, с которой боролсь, как могли, да не справились. Ни дома, ни в школе. Я оказывала упорное сопротивление и победила!

Правой рукой – только крещусь. Крещена тайно от партийных родителей бабушкой и няней. Единственно, кому я подчинилась, это "кассирше", – так я про себя назвала ту женщину, что продает свечи. Это мое первое и самое яркое воспоминание: мне около трех лет. Мы с няней Клавой (прибывшей к нашей инженерно-врачебной семье во время раскулачивания) – в церкви. Стоим на коленях. Я перекрестилась – левой. И тут ко мне подошла "кассирша": "Девочка,

это делается вот так и другой рукой”. Сама не пойму, почему я покорно послушалась. Может быть, оттого, что все вокруг было золотистого цвета: свечи, картины (иконы), дымок из кадила, похожего на мамину шкатулку, и сам воздух. Когда я повыше подняла голову, то увидела Бога. В золотистом длинном платье он ходил и что-то говорил. И очень мне захотелось познакомиться. Но как? Дома, в огромной многонациональной коммуналке, у меня уже был опыт проникновения к соседям: я приходила и спрашивала “который час?” В церкви я поступила так же. Пройдя сквозь редкую толпу старушек (молодых не помню), я подошла и громко спросила: “Боженька, боженька, который час?” – “Я не боженька, а батюшка”.

Неужели, – подумала я, – боженька умеет врать, ведь “батюшка” – Клавино слово. Когда, например, на кухне горят котлеты, она обеими руками бьет себя по коленям – “Ой, батюшки!” – и мчится к керосинке.

“Неправда! – сказала я священнику упрямо. – Вы не батюшка, а боженька”. Тогда он обратился к подоспевшей Клаве: “Подождите меня, служба кончается, я скоро к вам выйду. Очень мне нравится твое дите, хочу с ней поговорить”.

Опять потрясение: служба. На службу ходят и папа, и мама, а он – не на службе, а на празднике. И все же мы познакомились, и батюшка мне так хорошо все объяснил, что мы подружились. Потрясло меня и то, что я – хорошее дитя. Так обо мне не могли сказать и не говорили ни дома, ни после – в школе. Всегда и всюду про меня говорили – упрямая, трудная.

Да и жизнь с моих шести лет началась трудная. Но о трудностях жизни я вспоминать не люблю. Все тяжкое ушло в стихи, все смешное и нелепое – осталось со мной. А смешного и нелепого было в моей жизни – хоть отбавляй, всего не перескажешь. В жизни я, если и бралась за что-либо, то всегда всерьез. (Если бы в анкете спрашивалось: “Обладаете ли чувством юмора?” – я бы также ответила – “НЕТ”.) Всерьез в детстве я относилась и к играм. Сколько раз мама с ужасом заставляла меня жующей и глотающей пляжный песок – это я пекла пироги с помощью игрушечных песочниц и, конечно же, съедала свое “испеченное”. И мне было вкусно.

Смешно и нелепо и то, что, начав сочинять стихи с десяти лет, читать стихов не любила (только – Корнея Чуковского в более ранние годы и “Дама сдавала в багаж” Маршака). Этой нелюбви способствовало и нелепое обучение декламации в начальной школе, а в старших классах – уж совершенно смехотворное определение поэтических ценностей: образ такого-то в стихах такого-то. Живя в атмосфере даже не столичного, а провинциального невежества 30 – 40-х, я и Пушкина поздно начала читать. Тайком, взалхб – читала запрещенного и кем-то подаренного мне Есенина. Из-за долгого нечтения поэзии я и считаю себя стихотворцем позднего развития. (Назвать же себя Поэтом – все равно что сказать о себе: “Я – красавица”.) Если в моих стихах и есть хоть какое-нибудь музыкальное начало, то оно – от моей матери. Она училась одновременно и на инженера, и в консерватории – пению. В доме по вечерам над фортепиано жил чудный мамин голос. Но чего только не заглушила страшная нелепость тридцатых годов! Вот и мама тогда сорвала голос, хотя и сейчас по телефону она звонко и весело разговаривает со мной, – жизнелюбия не утратила. От моего отца я могла унаследовать его беспредельную доброту к людям, но такая доброта – еще более редкое свойство, чем дивный голос. И этого отцовского качества я, увы, не унаследовала, – иначе бы мои стихи были всецело обращены к внешнему миру, были бы куда светлее.

Если спросите, почему у меня нет высшего образования, то я отвечу: еще в школе студенты мне казались некими высшими существами, до которых мне — как до звезд. И после десятилетки, когда мои школьные друзья втайне от меня послали мои стихи в Литературный институт им. Горького и пришло мне приглашение приехать, я очень обрадовалась, решила, что принята без экзаменов. Но, прибыв в Москву и придя в Литинститут, я узнала, что допущена по конкурсу к экзаменам. И страшно испугалась: нет, экзамены на студента я не выдержу. И как меня ни уговаривал Николай Тихонов, что эти экзамены, в сущности, — чистая формальность, что главное — понравились стихи, я едва сданные документы тут же забрала. "Ну что вы за нелепая!" — угадал Тихонов. В конце концов приехавший в Баку на какое-то торжество Павел Антокольский поинтересовался, почему я не учусь в бакинском университете. И уговорил ректора принять меня без экзаменов. И я пошла. Но тут вскоре у меня родилась дочь. Я же умею заниматься только одним делом на любом этапе жизни. И я занялась материнством, а не латынью. И счастлива до сих пор, такая у меня выросла замечательная дочь: и прозаик, и художник-педагог, и добрый человек, — вот кто пошел добротой в погибшего на войне моего отца.

Но и материнством я занималась недолго, всего пять лет, отдавая большую часть времени и души другим своим новорожденным — стихам, они были так беспомощны! Опять же, один из моих друзей послал эти стихи, еще беспомощные в смысле формы и отсутствия истинной поэтической школы, в "Новый мир". Однако что-то в них привлекло Твардовского, и меня начали публиковать. Напечатала меня и "Юность". В 1957 году меня приняли в Союз писателей, в 1961 году я переехала в Москву. До книги "Из первых уст" все — плохо. Плохо по моей вине. А книга "Из первых уст" плоха уже по вине издательства "Советский писатель". Снова — нелепость: Борис Соловьев, отлично и почти наизусть знавший русскую поэзию, был цензурный человек. И, как главный куратор поэзии в издательстве, сказал мне с веселым цинизмом: "Эти — хорошие, но чересчур опасные, — не пойдут. Я знаю, что вы пишете много и у вас много и плохих стихов, вот и принесите мне". Почему я, упрямец, не воспротивилась и не забрала рукопись? Стыдно и сказать — из-за денег! Дочь — в больнице, а я — только из больницы. Не устояла, какось, — и вышла четвертая плохая книга.

Шестидесятые годы были во всех отношениях моими переломными годами. Судьба оказалась благосклонна ко мне, и я — нелепая — в 1967 году встретилась с Семеном Липкиным, с которым и сейчас — под одной крышей. Липкин очень многому и быстро научил меня: порядку в стихах, где, скажем, две строки хороши, а одна присобачена не в угоду смыслу, а рифме. И еще — не растекаться по древу, писать об одном. Так упорядочилось мое стихотворчество и совершенно распорядчилась внешняя моя литературная жизнь. Печатать перестали. Вышла из печати только ободранная и общипанная многоступенчатой редактурой книжка "Виноградный свет" (1978 год).

И опять — десятилетний перерыв.

Период, связанный со скандалом вокруг "Метрополя" и моим выходом из СП вместе с Аксеновым и Липкиным, конечно же, был нелегко и полон разных видов преследования — от запрета на профессию до хулиганских нападков на улице, телефонных угроз, разбоя в моей квартире в наше отсутствие, вызовов меня

“куда надо” и прочего. Однако какая это изоляция по сравнению с тем, что творили в Горьком с Андреем Дмитриевичем Сахаровым или с Ириной Ратушинской, поэтессой, отбывавшей тогда срок в потьменском лагере (сейчас она в Америке)!.. Несмотря на всяческие трудности, я лично этот период моей жизни считаю благословенным. Внутренне я чувствовала себя свободной, как никогда. Да и разрушенная связь с издательствами прибавляла к этой свободе свободное от переводческой работы время. Очень много писалось, а это для меня наивысшее наслаждение. Разочарование приходит потом, а пока пишется – пусть ты самого наискромнейшего, самого зыбкого представления о себе перед образцами русской поэзии, – ты об этом не думаешь, и веришь в себя. Мания письма, т.е. графомания, – одна из сильнейших на свете маний. Об этом и Толстой говорил. Смешно сказать, но я даже благодарна тем, кто не давал мне житья. Могу рассказать такой случай. Мы с Липкиным в июне 84-го года устроились в пансионате “Отдых” в Рузском районе. В конце июня меня по телефону из Москвы уведомила соседка, бравшая тогда для нас почту, что мне пришла повестка. А на другой день наш общий с Липкиным друг Галина Балтер, живущая на даче в деревне Вертушино, рядом с Домом творчества в Малеевке, сообщила нам, что к ней приезжали на черной “Волге” и искали меня (видимо, знали, что зимой мы у нее на даче жили недельки три). Тут Семен Израилевич за меня испугался: “Дело, видно, серьезное, если за сто километров искать тебя приехали, может быть, стоит явиться?” Я отвечала, что ни в коем случае спешить мне не стоит, тем более если действительно дело мое – швах. Очень хочется подольше в этой красоте поблаженствовать. И мне удалось уговорить директора пансионата продлить нам путевки до сентября. Поспособствовало его великодушию и то обстоятельство, что незадолго до разговора с директором нас навестила Ахмадулина, чей поэтический певческий дар меня всегда пленяет и завораживает. Весь пансионат был ее приездом к двум безвестным пенсионерам приятно взбудоражен. А я-то еще недоумевала, когда Белла говорила мне, да и писала, что тревожится о нашей сохранности и хочет все время держать нас под своим крылом (это при том, что всегда была абсолютно равнодушна к моим стихам).

Поскольку я обычно избегаю стихами все тяжкое, меня посетила муза, и, начав со стихотворения “Повестка”, я написала большой цикл стихотворений. А “Повестку” переписываю, чтобы было понятно, как счастлива я была до середины сентября:

Спасибо тем, кто мне прислал повестку
Не в зимний день, а в день июля дивный,
Когда земля как бы косе в отместку
Цветет с решимостью оперативной.

Здесь к вечеру косили, а к полудню –
Вновь лютик, василек, иван-да-марья,
Над ними шмель настраивает лютню,
А надо мной звенит струна комарья.

Как радостно, как весело! – Давненько
Так остро я не ощущала воли:
Направо – лес, налево – деревенька,
А между ними лодка на приколе,

И удочка взлетает над рекою,
Как палочка волшебная, и участь –
Светла! И все настолько под рукою,
Что даже дурью собственной не мучусь,

Тем более – опричной. Мир цветочный
Пьянит, – впервые жизнь я пью глазами,
А те, кому понадобилась срочно,
Пусть подождут...

И вот теперь, когда я восстановлена в Союзе писателей, и меня публикует периодика, и запланирована моя книга в "Советском писателе", я не очень-то счастлива. Мысли о публикациях, об откликах или неоткликах на них, нервность по поводу книжки, которая выйдет малым объемом и тиражом, вся эта недостойная стихотворца душевная суетность не дает мне того необходимого внутреннего равновесия, которое было в годы моего "отщепенства". И, значит, пишется реже.

Но, может быть, это не главная причина? Главная, наверно, – сегодняшняя сверхтревожная жизнь. Тогда я знала: я – пария, и со мной могут сделать что захотят. Ну и что с того? Это – ничто по сравнению с тревогой нынешней, глобальной, всенародной.

А смешное и нелепое все равно в большом количестве как пребывало, так и пребывает в моей жизни. Например, в период так называемого застоя я обожала смотреть фильмы, в которых все было прекрасно. Я сидела перед телевизором и радовалась хорошей жизни, счастливым концам кинолент. Это я, забывшись, как в детстве, жевала и проглатывала пироги из песка.

29 октября 1989 года

ИННА ЛЬВОВНА ЛИСНЯНСКАЯ

СТУПЕНИ

Поэма

Редактор **А.Лейкин**
Технический редактор **А.Локтина**
Оператор **А.Чичина**

Сдано в набор 21.05.90. Подписано в печать 25.06.90. Формат 60x841/16. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 1,86. Уч.-изд.л. 1,89. Тираж 3000 экз. Заказ № 130 Цена 2 руб.

Издательство 'Прометей' МГПИ им. В.И.Ленина
Литературно-художественное агенство 'ТОЗА' Всесоюзного
гуманитарного фонда им. А.С. Пушкина
119048, Москва, ул. Усачева, 64.

Производственно-издательский комбинат :
ЦНИИТЭИ, 'Тетит'.
123290, Москва, Шмитовский пр., 39.

К ЮБИЛЕЮ ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ

24 июня исполняется 60 лет Инне Лиснянской, поэту, чей голос – один из наиболее веских в современной нашей поэзии.

Если вдуматься, само возникновение этого голоса – чудо, состоявшееся едва ли не вопреки физическим законам материи. Ибо творчество Лиснянской формировалось во времена, когда обрести внутреннюю свободу и высокое литературное качество было невероятно трудно. Соблазны идеологической конъюнктуры, правда, были ей чужды изначально, но и 60-е годы таили свои искусства дозволенной фронды и поверхностного успеха.

Лиснянская преодолела все это, ее лирика самовоспитывалась вне рынка сбыта и расчета на потребителя. С годами – она только все более соответствовала вдохновению внутреннего сердечного побуждения, все четче фокусировалась на истинности и при этом – в соответствии с отечественной традицией – брала на себя грехи мира:

*В душном времени, в болотном пламени
Имя Господа мы долго жгли
И сгорали сами. И, как знаменье,
Ливни милосердные сошли.*

*И отступница, и погорелица, –
Каюсь на пространстве торфяном,
Низкий голос по России стелется,
Словно дым, который был огнем.*

*И наверное, когда покину я
Навсегда земную колею,
Тень моя не раз придет с повинною,
Если даже окажусь в раю.*

Столь последовательная порядочность и бескорыстное служение дару на целое десятилетие оглушили поэтессу от широкого читателя в России, два ее сборника вышли на Западе ("Дожди и зеркала", ИМКА-Пресс, 1983; "На опушке сна", Ардис, 1984); лишь в самое последнее время Лиснянскую (пока еще скупно) стали публиковать на родине...

В дни шестидесятилетия мы хотим пожелать замечательному поэту новых трудов во славу российского стихотворства.

ИОСИФ БРОДСКИЙ
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ